



**ГЕОРГИЙ
ПЕТРОВИЧ
ШЛИМАЗЛ**

Издательские решения

Георгий Петрович

Шлимазл

«Издательские решения»

2014

Петрович Г.

Шлимазл / Г. Петрович — «Издательские решения», 2014

История дантиста Бориса Элькина вступившего по неосторожности на путь скитаний. Побег в эмиграцию в надежде оборачивается длинной чередой встреч с бывшими друзьями вдоволь насытившихся хлебом чужой земли. Ностальгия настигает его в Америке и больше уже никогда не расстается с ним. Извечная тоска по родине как еще одно из испытаний, которые предстоит вынести герою. Подобно ветхозаветному Иову он не только жаждет быть услышанным Богом, но и предъявляет ему счет на страдания пережитые им самим, и теми, кто ему близок.

Содержание

ЧАСТЬ I	6
ЧАСТЬ II	17
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Георгий Петрович Шлимазл

– Мама, а что такое илимазл?

– Шлимазл, мой сыночек, – это ты.

ЧАСТЬ I

Еврей по крови, христианин по вероисповеданию, крещенный в Слуцкой церкви города Перми Борис Натанович Элькин впал в состояние астенической плаксивости и злобной раздражительности. Вообще-то эти два симптома трудно уживаются в организме одного пациента потому, что у злобы сухие глаза, но вот у Бориса Натановича было именно так и не иначе. Как человек образованный и не лишённый зачатков аналитического мышления, он попытался найти причины душевного дискомфорта и даже попробовал дать научное определение своему психическому состоянию, но ничего путного из этого не выходило. При этом он залез в такие дебри, выпутаться из которых совершенно не представлялось возможным. Проще всего было бы объяснить угнетенное состояние духа болезнью жены, но в том-то и дело, что всё началось гораздо раньше, чем появились первые клинические признаки заболевания супруги. Почему вообще меланхолия бывает чёрная, тоска – зеленая, а печаль – светлая? Кто первый определил цвета этих могильщиков хорошего настроения? И почему все эти гадости, включая хандру, апатию, скорбь и кручину, принадлежат исключительно к женскому роду? Сие неизвестно.

Думал-думал Борис и решил плясать от ностальгии. Тоже ведь не мужского рода явление и тоже ведь – тоска. Тоска по утраченному! Диагноз, кстати, среди олим хадашим¹ весьма распространённый. Только, было, он на анализе слова сосредоточился, как всплыло в голове немецкое «Heim weh», что должно обозначать, вероятно «боль по домашнему очагу, по Родине», попробуй точно переведи, когда слова ни предлогами, ни суффиксами не связаны. Чтобы совсем не запутаться, решил начать с самого простого: с анализа грусти-печали.

Пример? Да вот извольте. Постучался как-то великий русский писатель, полжизни прозябавший непонятно на каком положении у мадам Виардо: то ли на положении иждивенца, то ли на правах любовника, скорей всего – последнее, ну, так вот, постучался он к ней в окно спальни, а она – Полина – возьми, да и не открой, по причине наличия в организме критических дней неделикатного свойства. И закручинился тогда Ваня, вспомнил ядрёных, пахнущих березовым веничком по субботам, крепкогруденьких, задастеньких девок в папенькином имени, у которых под цветастеньким сарафанчиком панталончиков отродясь не водилось, и которые за кулек жамок или коробку конфетов (так эти сладости в то время назывались) полной взаимностью на чувства барчука отвечали, а за козловые полсапожки пылко влюблялись по гроб жизни и отдавали себя благодетелю всю без остатка; вспомнил певец русской природы их провинциальные прелести и светло так опечалился или, скажем, легко так загрустил. С прозаиком всё понятно, причина для утраты настроения какая-никакая, но имеется, а вот когда на фоне полнейшего внешнего благополучия: здоровье, гражданство, частная клиника – полное отрицание и абсолютное невосприятие окружающей действительности, и тоска смертная, тоска звериная, когда больше хочется не кого-то ушибить, а себя зарезать, вот это от чего?

Когда не замечаешь хорошее, а выискиваешь крупы негативного, когда все замечательно в плане экологическом: чистая вода, вкуснейшие продукты, свежайший в мире воздух, по причине отсутствия антисемитов в радиусе, страшно сказать скольких километров – и все это игнорируется, но культивируется ненависть к жару, к кусачим мошкам в Цфате, когда удивление внешним видом ортодоксальных евреев граничит с неприязнью, когда сам по себе напрашивается вопрос: как умные люди могли придумать себе добровольную пытку – носить в африканскую жару чёрные, плотные сюртуки, кипы под цилиндрами и даже меховые шапки эпатажного покроя (встречаются в Цфате и такие), как можно изобрести головной убор – кипу,

¹ Оле хадаш – недавно репатрировавшийся в Израиль (иврит)

который настолько мал и неудобен, что крепится к волосам специальными защепками? И как, вернее, к чему крепить его лысым? На клей БФ садить, что ли?

Он сотни раз наблюдал, как лёгкий ветерок приподнимает незафиксированный край кипы, отчего она становится вертикально, угрожая улететь куда-нибудь к чёртовой матери при следующем, более сильном порыве ветра. Он даже желал в душе, чтобы это, наконец, произошло, и чтобы упрямыцы догадались изобрести нечто более рациональное, но кипы с голов, вопреки всем физическим законам, наземь не падали, и вообще причиной его депрессии были не кусачие мошки, не адская жара, и не меховые шапки суперортодоксов. Причина была более чем уважительная. Умирала жена, жена любимая, и никто на Святой земле не мог воспрепятствовать этому. А почему заболела именно его жена, почему запустили болезнь до стадии неизлечимой, будучи сами докторами? Как это почему? Да, потому что он – шлимазл! Вот и всё объяснение.

«А может быть, меня Боги наказывают за неверие мое? – думал он, – но почему в таком случае, её убиваете, а не меня? Она-то как раз вам верит. Вон мама моя Бога иудейского сто раз костерила, просила наказать за скверну её в качестве доказательства Его существования и что? А может быть, это и есть наказание Господне? Умно! Очень даже умно! Что такое твое личное несчастье по сравнению с несчастьем твоего ребенка?»

И звучал в ушах при виде синагоги мамин голос. Про войну мама рассказывала:

Три дня чудом избежавшие ареста две взрослые женщины и тринадцатилетняя девочка прятались в лесу недалеко от Витебска. Чудо явилось рано утром в образе старого почтальона Петруся Кацубы.

Поздоровался. Оглушил новостью с порога: «Облавы в городе. Евреев забирают и увозят. Не щадят ни стариков, ни детей»

Петрусь пришел не один – привел с собой сноху. Белорусок тоже забирали, если их мужья занимали командующее положение в армии. Как немцы узнавали, кто есть кто – догадаться нетрудно. Осведомители давали информацию добровольно, исправно и на удивление ретиво.

Вот войдут, бывало, вечером немцы в село, а уже утром точно знают, где еврей проживает, а где жена командира прячется.

– Соня, а где твой? – оценивающе оглядел большой живот хуторянки Петрусь.

– Уехал вчера в город с её родителями, – кивнула на племянницу, – и почему-то не вернулся.

Теперь она знала почему. Арестованы сестра с мужем. И её Натан арестован. Сомлела от ужаса. И заплясали лихорадочно ярёмные вены на белой шее.

– Какая ты большая стала, Ханочка, – улыбнулся старик племяннице, – чужие детки быстро растут. Давно ли твоей матке целый ворох телеграмм принес, когда ты родилась, и вот ты уже невеста. Эх! Твою мать! – закручинился старик. – Тебе ли, такой красавице, без батьки по лесам бегать? Торопитесь, девки, а то воны придут, а вы схвататься не успеете.

Петрусь торопил не зря. Не успели еду в корзину уложить, как послышался шум мотора.

Уходили огородами и уже из лесу видели, как выпрыгивали полицаи из машины, как рыскали по двору, по сараям. Слышали веселый мат, выстрелы: наверное, корову застрелили, а кого там еще стрелять?

Петрусь вывел женщин через болото на чистое место, сам направился домой, а беглецы пошли, куда глаза глядят. К вечеру третьего дня повезло – наткнулись на своих. Два солдатики, небритые, оборванные, но с оружием возникли из тумана.

– Пожрать дайте.

Как не дать? А сноха Петруся ещё и бутылочку им предложила. Зря старый Петрусь положил снохе в узел самогон «для сугреву». Ох! Зря! Пока трезвые были солдатики, все было хорошо, а как выпили – стал тот, что постарше нехорошо глазами поблескивать.

– Хороший немцы своим подстилкам харч выдают.

– Да, что вы такое говорите? Она жена командира, а я – еврейка. Нам ли с немцами хороводиться?

– Сколько тебе лет? – старший подошёл к Хане.

– Ребёнок она ещё, – похолодела от ужаса Соня, – тринадцать лет.

– А на вид все семнадцать дашь, – оскалился с грозной веселостью. Намотал густую косу Ханы на кулак. – Счас мы твой возраст по вместимости определим и метрику тебе жидовскую выпишем. Ха-ха!

Упала тетка на колени, обезумев от страха.

– Меня возьмите, пощадите девочку.

– Да ты ж брюхатая!

– Ну и что, ну и что? – кричала тетка.

Солдат передернул затвор.

– Не кричи так, Соня, – заворожено не сводила глаз с блестящего ствола сноха Петруся. – Если они нас застрелят, что потом с Ханой будет?

Старший завел Хану в кусты. Один раз вскрикнула девочка и замолчала. Потом старший держал женщин на мушке, пока второй уходил в кустарник. Вернулся. Отошли. Посовещались коротко. Убивать не решились и не из гуманных соображений, скорее всего, а из-за страха быть услышанными. Выстрел в торфянике далеко разносится. Забрали у женщин всю еду, теплые кофты с носками снять не забыли, и ушли в туман.

Хана не плакала. Сидела, пытаясь прикрыть грудь разорванными краями кофточки, и безостановочно стряхивала с бедер, что-то, никому кроме неё не видимое, как будто по ней ползали черви.

– Встань, детка, на корточки, счас же! Потужься! – приказала сноха. – Господи! Даже воду скоты забрали, помыть девочку нечем. Вот у каких молодцев мой дурак командиром был, а я теперь из-за него по лесу бегать должна.

Еще день прятались в лесу, а когда вошли в село, чтобы колечко на еду выменять, сразу же наткнулись на полицаев. Запихнули беглецов в старую школу, а там уж человек двадцать томились. Кто без документов, кто по подозрению на еврейское происхождение, кто по обвинению в воровстве (у немцев с этим строго было), солдатиков тоже было несколько человек, только не те попались, а другие. Осень поздняя была, ночи холодные становились. Разломали мужики парту, растопили буржуйку, а тут и развлечение нашлось. Раввин древний, как иероглиф, в толпе затесался. Он всегда был старый. Сонин отец помнил его на своей бар-мицве². И уже тогда он был немощен и стар. Когда отец с Соней встречали его в городе, он всегда удивлялся, что старец еще жив.

– Смотри, доченька, – говорил отец, – ему сто лет, если не больше, а знаешь, почему его Господь к себе не забирает? Потому, что он – праведник, а они на земле больше других нужны. Святых-то у нас не густо, все больше грешники.

А святой этот производил впечатление человека, пережившего свой разум. Он бродил голодный по лесу один, не удивился и не испугался, когда его арестовали, и сейчас пошел послушно за двумя здоровыми, молодыми мужиками, доверчиво поглядывая снизу вверх на своих конвоиров. И когда эти бугаи спустили с него штаны, он, казалось, не понял ничего и не пытался одеться, а просто стоял, стыдливо прикрыв срам. А затейники схватили за руки, за ноги высохшего от старости раввина и с хохотом посадили несчастного на раскаленную плиту. Сначала раздался тонкий, прерывистый крик, как будто сойка голос в кустах подала, а потом запахло паленым мясом.

– Ну, что тут у вас? – заглянул в дверь часовой.

– А это мы чёрта пархатого на сковородке жарим.

² Бар-мицва – праздник совершеннолетия у мальчиков. Празднуется у иудеев в тринадцать лет.

Угодить хотели полициям ворюги и угодили, скорей всего, потому что утром их всех выпустили.

В этом месте рассказа мама всегда принималась плакать второй раз. Первый раз она начала всхлипывать, рассказывая про Хану. Борис не любил начала зимы, потому что в это время, перед праздником великого Октября (мама называла его «крававым»), начинали на северном Урале колоть поросят. Визжали предсмертно хрюшки то в одном конце улицы, то в другом, и крепко пахло паленым мясом, да и как запаху не быть, когда почти в каждом дворе паяльной лампой туши обрабатывали. И всегда в это время мама рассказывала ему эту историю, и всегда он чувствовал себя почему-то виноватым. Сам не знал почему. Виноват, и всё!

Зато он знал прекрасно, чем закончится мамино повествование.

– Ну, почему Господь не заступился? – спрашивала она. – Ну, хорошо, не спас грешников, неверующих евреев в беде оставил, но Ханочка наша, но раввин этот бедный, их-то за что? За чужие грехи? Нет, мне такой бог не нужен, потому что он, в таком случае, чудовищно несправедлив.

В этом месте монолога мама уже не плакала, а говорила, гневно поднимая сухие глаза к потолку.

– Ну, порази меня громом, если я не права, убей меня, накажи или переубеди! Молчишь? Будь ты проклят! За маму мою, за Натана моего, за сестру мою, за всех, кого эти сволочи убили, а ты и пальцем не шевельнул для их спасения.

Вот в результате подобных разборок с иудейским богом и был крещён в Слуцкой церкви города Перми еврей по крови Борис Натанович Элькин. Выкрест, если короче сказать, на свет появился, хотя выкрест – это еврей обрезанный, который в другую веру обратился, а у Бориса ввиду тотального уничтожения раввинов ничего лишнего обрезать не успели.

«Нет, и не может быть большего антисемита, чем выкрест», – бытует мнение или, если угодно, гласит народная мудрость.

Чушь это всё! Не так уж и мудр народ, если придумал поговорку: «Нет дыма без огня».

Ещё какой дым бывает! Ни сном, ни духом не знает человек, а про него такое наплетут – век не отмоешься. О том, что евреи кровь христианских младенцев пьют, тоже ведь народ придумал и не от большого ума, надо полагать, а скорее от злобы да от врожденной тупости.

Не антисемит, конечно, Борис Натанович, но, живя на улице Ахат Эсре в Цфате и проходя ежедневно мимо синагоги на соседней улице, он почему-то каждый раз вспоминал всю эту ересь про выкрестов и мамин рассказ. В синагогу он ни разу не вошел и виноватым при этом себя не чувствовал. Наоборот!

«Он вас предал, а вы ему молитесь, – думал он, косясь на посетителей небольшого домика со звездой Давида на фронтоне. – Вы мне объясните вразумительно, почему он шесть миллионов ваших единоверцев в крематорий отправил, почему он нашу Ханочку от насильников не защитил, и я тогда на коленях все синагоги мира оползу. Спасительную длань Господь не распростер потому, что заповеди его не исполняем? Но мочь предотвратить убийство и не сделать этого – значит потворствовать палачу. А если их руками расправился за неверие в Него иудеев – значит, сам палач! А если хотел помочь, но не смог, то это и не Бог вовсе! Разумно ли на него молиться?»

О том, что его православный Бог тоже в свое время, на гибель десятков миллионов ни в чем неповинных людей в Гулаге глаза закрыл, он также не забывал и по той же причине в церковь не заходил. Атеист-самоучка! Сам до всего допёр, и не потому, что большевики атеизм, как картошку, насаждали, а потому, что кресты на храмах рубили, а Он их не покарал. Проповедуй коммунисты религию, и он бы еще быстрее в атеиста превратился, по причине врожденной поперечности.

Шлимазл – так звала его мама за невезучесть, сам себе приключения на одно место находил и сам же, надо отдать справедливость, из этой профунды вылезал. Мама Соня знала, что говорила. Куда уж более неудачливому быть, чем он.

Родился в концлагере. В шесть лет упал коленом на разбитую бутылку, заработал остеомиелит, с тех пор, как увидит острые, как бритва, неровные края отбитого доньшка от бутылки, так холодок по спине.

В двенадцать тяжелое сотрясение мозга. Все, как и положено шлимазлу. Возили доски зимой с делового двора на вокзал. Туда сани шли груженные, обратно – пустые. Вот и повадились пацаны, живущие у вокзала, садиться без спросу и до школы ехать зайцем. Видели их возницы, конечно, но позволяли. Авось, не надорвется лошадка, если одного пацаненка подвезет. Что он там весит-то? Борька тоже решил таким манером прокатиться. Оглянулся усатый детина, увидел, что сел без спросу чернявенький пацан, и не прогнал, и не сказал ничего.

«Хороший дяденька», – решил Борис.

А хороший дяденька взял с передка березовый дрын толщиной в руку и со всего размаха бац! Прямо по губам удар прошелся. Лопнули губешки, как спелая клюква, и выпал из саней кровавым ртом в снег. Почему других не били, а били его? Потому что он – еврей, или потому что он – шлимазл? Спросить об этом у хорошего дяденьки не удалось. Известно лишь, что сотрясение мозга неудачник получил серьезное и всю жизнь потом головными болями после поездки в транспорте мучался.

Про то, что товар дефицитный, билеты железнодорожные, прямо перед его носом заканчивались, мы и повествовать не будем, к чему бумагу портить и время у читателя отнимать?

Дня не проходило без приключений. Послала мать к сапожнику валенки подшить. Дала последние пятьдесят рублей одной большой купюрой. И ведь потерял, а дома шаром покати, и занять не у кого. Не била мать в тот раз, хотя, что уж греха таить, раньше избивала нешуточно. А потом сама плакала, жалела шлимазла, говорила, что нервы после концлагеря ни к черту. Не наказала в тот раз, но так огорчилась, что два дня ходил туда-сюда по той тропинке, где предположительно деньги вместе с носовым платком из кармана выпали. К зиме дело близилось, грязь со снегом по дорожке, и ведь нашел на третий день. Бывает же такое чудо! Прямо у порога сапожной мастерской, притоптанная в грязь, лежала его пятидесятирублевка. Сколько людей мимо прошли, и не один не заметил.

А вот еще случай. Были при Хруще перебои с хлебом. Бегали ребята с вечера очередь занимать. Бегут по деревянному тротуару пацаны, кто обут, а большинство – босиком. Торчит в одном месте шляпка ребристого уральского гвоздя сантиметра на два над доской, и ведь все благополучно пробежали, а Борис, как шаркнет с разбега босой ногой, так и развалил подошву от пальцев до пятки. Ну, почему опять он? Что за проклятие?

Или вот еще. Начитались пацаны Хаггарта, Штильмарка, Фенимора Купера, вообразили себя кто пиратом, а кто индейцем, и давай в классную дверь нож метать.

«Дайте мне, дайте мне!»

Уже и звонок прозвенел, дали Борису, наконец. Метнул и лихо воткнул. Глубоко клинок в дерево вошел, упруго подрагивает ручка, и в этот момент открывается дверь и заходит директор сообщить, что учитель химии заболел. Мало того, что попался шлимазл, так ведь не простому учителю, а самому директору. Беспросветная невезуха, хотя если с другой стороны посмотреть, то, что получается? А то, что все большие неприятности заканчивались в основном благополучно. Смотрите! Родился в концлагере, но остался живой, хоть шансов выжить было ноль. Болел остеомиелитом, неподвижность коленного сустава прочили – выздоровел. Стал бегать – не догонишь. Губы дрыном хороший дяденька размозжил, но ведь зубы-то целы! Что это? Кто-то оберегает его? Покровительствует? Помогает в последний момент? Очень хотелось бы верить, что наверху опекун имеется, если бы не прочитанный у какого-то иноземца, контраргумент: «Ну, зачем? Для чего Богу дождь для тушения пожара организова-

вать? Если он такой властью располагает, то не разумнее было бы возгоранию воспрепятствовать и пожар этот упредить?»

В армии в Литве на учениях ухитрился Борис не по своей вине вместе с машиной с моста в речку ухнуть. Восемь метров пролетел и опять хуже всех. Старшина выпал в воду – и не царапины, радист Маликов в кузове сидел – щеку разорвал от виска до подбородка. И здесь ему явная выгода и очевидный профит. Был радист мужиком трусоватым, лицо имел бабье, с птичьим подбородочком, а тут такой шрамище симпатичный, и сразу же мужественности в лице поприбавилось, бздиловатость же, наоборот, ушла с лица – даже подбородок волевым смотреться стал. Всю жизнь потом будет хвастаться хилак, что удар бритвой в схватке с бандитами получил, защищая честь и достоинство дамы сердца. А Борис, как всегда, хуже всех. Тяжелейшая черепно-мозговая травма, ну и костей наломал – не сосчитать. Маячила в перспективе инвалидная коляска. Не впал в безнадугу, ползал по ночам на коленках, потом со стульями передвигался и не на секунду не сомневался, что все у него заживет. Нет, был опекун наверху, определенно был.

«Самогон из калтошки, но заку цацкий», – восторженно шепелявил от предвкушения ночного балдежа сосед по палате. Он десантник, сломал себе бедро, неудачно приземлившись с парашютом, завел роман с уборщицей на госпитальной кухне и теперь получал от нее вознаграждение за оказанное ей внимание в виде отвратительного картофельного самогона.

– Что еще за «заку цацкий?»

«Заку цацкий» – это закусь царский, презентованный десантнику его возлюбленной. Надрались безмолвно и до обездвиживания. Протестовала печень, отвыкшая от алкоголя. Рвался наружу закусон, испоганенный сивухой. Встать не было сил. Бекнул прямо на коврик у кровати. Открыл глаза, когда доктор Варанавичус уже входил в палату. Покрутил брезгливо носом, попросил немедленно открыть форточку и направился койке Бориса. Сейчас он наступит на блевонтин, и... Борис свесился с кровати, перевернул коврик, в следующую секунду доктор наступил на него, не заметив, что коврик лежит изнанкой кверху. Чавкнуло под ногой и волной по ноздрям шибануло зловоние. Коврик даже подался в сторону, скользнув по плохо пережеванной царской закуси. Все! Триздец, позор и всеобщее армейское презрение! Ан, нет! Тот, который наверху, отвлек внимание, перекрыл доктору обоняние и спас Бориса.

Через шесть месяцев принесли ему костыли, а он встал и побрел из палаты на своих удачно сросшихся, но еще не окрепших после двух открытых переломов голеней ногах.

– Куда ты, – закричали хором, – нельзя без костылей, держите его, а то из-за длительного лежания у него может развиваться ортостатический дефект, и он упадет от головокружения.

– Где тут у вас весы, интересно узнать, сколько килограмм я за шесть месяцев потерял.

Всю войну старшая медсестра раненых таскала, всего насмотрелась, а тут прослезилась.

– Что же вы плачете, Ирэна Витольдовна?

– От радости за него!

Был наверху заступник и хранитель, зачем Бога черной неблагодарностью гневить? Несомненно, был.

После армии жизнь катилась ушлимазла без приключений. Такое благополучие началось, что даже кличку мамину стал под сомнение ставить. Все пристойно, скучно, недосолено, противно – патология! Правда, патологический период существования длился недолго, очень скоро началось нормальное для него течение жизни.

Поступил в Пермский мединститут. Послали после третьего курса на картошку в деревню Уса. Млел от сознания тайного превосходства. Всех по отсталым старушкам распределили, а его поселили с коллегой-рентгенологом. Все бы хорошо, если бы не сосед по квартире. Предупредительный до странности. На любой случай жизни ответ: «А могла бы жить».

– Саш! Кино индийское привезли, – заглядывает в глаза жена, – давай сходим.

– Одна ходила в кино, деньги семейные потратила, вместо того, чтобы флакон супругу выставить, а могла бы жить, себя не мучить, врачей!

– Давай купим Васе полушубок, – жена о пасынке просит, – а то зима на носу, а ему ходить не в чем.

– Одна купила полушубчик на последние деньги, а могла бы жить.

Он год назад до Борисова приезда нос супружнице сломал от избытка нежности, и с тех пор у нее каждое утро кровь на подушке. Уже и хлористый кальций пила и тампонаду ноздрей с перекисью водорода делала – все без толку.

И все ходила к студенту в отсутствие мужа Вера – так звали Сашкину супругу, прислонялась спиной к косяку, жаловалась, что обижает отчим Ваську, и не забывала говорить, с притворным испугом оглядываясь на дверь, одно и то же:

– Ой! Если он нас застанет, он убьет тут нас обоих. Ревнивый кобель! Сам гуляет, а меня ревнует к каждому столбу. Мне уже и подружки говорили: «Да дай ты кому-нибудь, чтоб не зря от него побои выносить».

Поправляла прическу, одергивала кофточку, прикусывала нижнюю губу, отчего губа становилась полней и ярче – известный прием деревенских соблазнительниц, опять с фальшивой тревогой выглядывала в окно, говоря при этом:

– Он, когда ухаживал за мной, такой смиренный был. Такой смиренный, что только потом с ним издалось?

– А «издалось» с ним то, – думал Борис, – о чём поётся в известной частушке:

Меня милый провожал,
Всю дорогу руку жал.
А у самых у дверей
Надавал мне пиздюлей.

– Вот в этих двух строчках, – печально констатировал Борис, – и сосредоточена квинт-эссенция деревенской жизни.

Он чувствовал нафталиновый запах кофточки – достала, наверное, из сундука, а потом это «он нас застанет» – что уж тут гадать? Готова дамочка к отмщению за все перенесенные от мужа мерзости, надо бы утешить, но уж больно неказиста, да и рентгенолог в любую минуту может войти – больница в ста метрах от дома.

«Чем объяснить, – думал Борис, – что нормальная, в сущности, баба, ну пусть не красавица, но и не урод, трезвая, аккуратная, работающая, судя по всему, сходится с хамом, самодостаточным кретином, который её откровенно презирает, изменяет ей, не скрывая амурных походов, а наоборот: бахвалясь ими; пьет, бьет её и, тем не менее, она с ним живет? Любовь? Да какая к черту любовь? Только намекни, и приляжет, на все согласная. Так почему живет? Ясно почему. Нищета российская. Куда идти, когда годами в очереди на квартиру стоят. А если и есть куда уйти, так он же будет окна бить, позорить на всю деревню и заступиться некому. Вот если убьёт, тогда другое дело, а так кому жаловаться, если участковый ему друг закадычный, со школы за кадык вместе закладывают».

Борис изображал участие, врал, что ему срочно нужно уходить, и даже выходил с ней вместе из комнаты, с тоскливой обреченностью осознавая, что добром эти визиты не кончатся, независимо от того, как он будет себя вести по отношению к соседке. Нутром своим, еврейским генетическим чутьем на опасность, знал почти наверняка о надвигающейся угрозе, но ещё более определенно он знал, что от него уже ничего не зависит. Очередная неприятность дляшлимазла вызревала, как нарыв, и была предопределена. Так бывало с ним уже не раз, когда в малознакомой компании оказывался агрессивно настроенный к нему человек, и когда нельзя было избежать конфликта, как бы он себя при этом ни вел, когда не хватало ума встать из-

за стола и уйти. Ума хватало, конечно, но он всегда боялся, что его обвинят в трусости, особенно те из них, кто с удовольствием муссировал многочисленные анекдотические выдумки про врожденную робость иудеев и якобы изобретенное ими для личной безопасности в бою кривое ружье, для того чтобы можно было стрелять этим оружием из-за угла.

Поэтому Борис компанию не покидал, но резко ограничивал приём алкоголя, дабы в предстоящей драке быть трезвее противника.

Не успел отделаться от мамы, как пришёл её сын – Вася, мальчик лет тринадцати. Он купил два билета в кино «Черный принц» и деньги взять за билет отказался наотрез. Борис сбегал в сельпо и купил пацану футболку. К вечеру разразился скандал. Борис зашёл в коридор и услышал:

«Он что? Хахаль тебе? – кричал Сашка обесцвеченным алкоголем и никотином голосом, и стало ясно, что сосед сильно пьян и злобен, и злоба эта подогревается беззащитностью жены и отчетливым ощущением собственной безнаказанности, когда можно унижать, оскорблять, бить можно, калечить можно, вот только убивать нельзя. – За какие такие красивые глаза он твоему выблядку футболку купил? В глаза мне! В глаза мне курва смотри!»

Послышались глухие удары, приглушенные крики, забежал в комнату испуганный Вася в разорванной футболочке, за ним ворвался Сашка. Борис, может быть, и не встрял бы в эту свару, но мальчишка спрятался за его спину, и это решило дело.

– Бить не дам, – твердо сказал он соседу, и хоть был Сашка пьян, но сообразил, что ему не уступят и что голыми руками ему студента не взять.

– Ах, вон оно что? Да я вас щас обоих!

Сашка выскочил в коридор и вернулся с топором. Дернул за ручку – закрыто. Ударил по двери сплеча. Хорошо, что дверь с двумя поперечинами в паз и с откосом, а ещё хорошо, что наружу открывается – легко с петель не сорвешь. Когда попадает топор по поперечине, то отскакивает, а как вдоль волокна – вязнет. Борис приподнял тихонько крючок, определил по звуку, что топор завяз, и со всей силы ногой по двери. Сначала Сашке дверями по морде досталось, а потом студент добавил. Дал в нюх со сладкой злобой, скатил с крутого крыльца на улицу, и Сашка очень быстро успокоился, протрезвел вроде даже, за топором больше не побежал и ни за каким другим инструментом тоже, вот только всё за запястье хватался и морщился, как от боли. А утром съездил сосед в район и вернулся загипсованный: перелом обеих костей предплечья. Через час заявился участковый. Поздоровался, улыбнулся приветливо, и понял шлимазл, что пощады ему не будет, по улыбке понял. Он всё объяснил, рассказал, что Сашка бил жену и что Васю хотел избить, а он – Борис – не дал.

– Да вы сами Васю спросите, – предложил Борис.

Оказалось, что Васю, не смотря на ранний час, отсутствие транспорта и начало занятий в школе, отправили зачем-то к бабушке в другой район. Борис догадался зачем – свидетеля убрали, но ведь жена ещё имеется.

– Ничего я не слышала и не видела, – нарочито громко гремела посудой Вера, стараясь не смотреть на студента, – у меня стиральная машина работала, она старая уже – шумит, как трактор.

– Но он же пьяный был в хлам! Он же гонял вас там, Васе футболочку порвал!

– Ничего не знаю, я ему не подносила, – непонятно почему раздражалась Вера, – разберите сами, не суйте вы меня в это дело.

– Ну, вот дверь, дверь я сам что ли, изрубил, – убеждал мента Борис.

– Эх! Борис Натанович! Тут раньше такие архаровцы жили, вся деревня со страху тряслась, вот они и порубили дверь-ту, как вы докажете, что её Саша изрубил? Где у вас свидетели? Где?

– Ах! Вот как? В таком случае, и я заявляю, что не спускал соседа с лестницы, у вас ведь тоже свидетелей нет, – мстительно нажимал Борис на слово «свидетель», – если хотите знать, я его вообще вчера не видел, и протокольчик ваш я подписывать не собираюсь.

Проиграл поединок участковый. Ему надо было бы попросить ласково, объяснительную записку написать, но сначала предупредить об ответственности за дачу ложных показаний, на эту удочку много дураков клюет, не зная, что это его законнейшее право: врать, изворачиваться, защищая себя, а вот, поди ж ты, так боятся ответственности, что забывают о том, что они и не свидетели вовсе, а обвиняемые, и что они вправе вообще рта не раскрывать. Убогость наша!

Ну, а когда испугается допрашиваемый до побледнения лица, нужно было сразу же смягчиться и якобы на сторону обвиняемого стать, сказать, что Сашка этот – пьянь, рвань и что поделом ему – подлецу руку сломали, надо бы и вторую починить. И тогда студент, почуяв в лице участкового единомышленника, горя справедливым негодованием, описал бы, как он калечил гада, и подпись бы свою под протокольчиком оставил, и тем самым и себе бы подписал приговор. Дилетантом оказался участковый. Что с него возьмешь?

«А здорово я выкрутился, четко я мента сделал», – гордился собой Борис, сидя в автобусе. Работа в деревне закончилась как раз через день после инцидента, и теперь, по пути домой, он прокручивал в уме происшествие. На Веру он не обижался, он же понимал, что дай она показания на мужа – и будет бита неоднократно, и будет он над ней глумиться (слово-то, какое емкое – «глумиться»), и каждый раз после экзекуции он будет приговаривать: «А могла бы жить!» А ещё думал Борис о том, что если нельзя в долг давать, потому что не отдадут, и заступиться за слабого нельзя, потому что тебя же за это и накажут, так чем же тогда от подлеца отличиться будешь? А вот чем, наверное: подлец от рождения сразу знает, как себя надо вести, чтобы в историю не попасть, а хороший человек подловатеньким вынужден становится из-за несовершенства родного законодательства и от соприкосновения с жестокими реалиями жизни. Во как!

Вот с такими мыслями и неплохим, в сущности, настроением, приехал Борис домой, а когда пришел в деканат, там уже лежал протокол из деревни Уса, где подробно описывались похождения студента Элькина: пьяный дебош, зверское избиение соседа «ни за что, ни про что», нанесение ему тяжких телесных повреждений с последующей стойкой утратой нетрудоспособности. А в конце протокола красовались подписи двух свидетелей этого безобразия, и видно было, что Васины каракули никто не подделывал – почерк детский, неоформленный – не спутаешь. А потом был ректорат, и выгнали шлимазла из института с треском за поведение, порочащее высокое звание студента-медика, и никого не смог он убедить в своей правоте, и никто ему не поверил, потому что даже ребёнок расписался в документе. Какой ему прок врать, спрашивается? Известно ведь, что устами младенца глаголет истина. Еще один перл так называемой народной мудрости. Чушь собачья, бред сивой кобылы, вздор и ересь – мудрость эта, потому что, во-первых: младенцы говорить не умеют, а во-вторых: детишки врут, аж уши вянут. Специалисты прекрасно знают особенности детской психологии: ответ зависит от того, как будет задан вопрос. Спросите трехлетнего малыша: «Ты же видел, как аист тебе сестричку ночью принес? Видел же, видел?» И малыш не только подтвердит невидимое, но ещё и опишет, как этот аист выглядел.

В истории Васиной подписи была другая причина, но это дела не меняло, пришлось год отработать в медпункте, заработать хорошую характеристику, а потом уехать в Омск и уже там заканчивать институт. Там и познакомился Борис со своей будущей женой и окончил ВУЗ без приключений, и родила ему красавица сентябрьской ночью дочурку, и работали оба врачами, и опять доктор почти позабыл, что он – шлимазл, но последующие вскоре события напомнили ему, кто есть кто.

Учился у них в институте двумя курсами старше его знаменитый своей безрукостью Вовочка Краснов. Глазки у него были грустные, как у таксы, тельце Вовик имел сухонькое, если не сказать плюгавенькое, а головенка на удивление крупная удалась и лобастенькая. Он, занимаясь на кафедре ортопедической стоматологии, ухитрился припасовать левую коронку на правый клык, а правую – на левый. И ведь подгонял, старался, кончик языка высовывал от усердия, десневой край обрезал, на наковаленке молоточком изделие разбивал и надел-таки, и зеркальце больному подал: смотри, мол, какой я мастер. Протезируемый на себя взглянул, и рот скукожил от непереносимости огорчения.

«Мне кажется, доктор, – вампирно блеснул клыками пациент, – вы не на ту ногу мне их надели».

С тех пор как увидят студенты бездарно смоделированную или плохо припасованную коронку, так сразу: «Это не на ту ногу!»

А Вовочка этот безрукий и не дурак совсем оказался, все в профкоме отирался, потом в коммунистическую партию вступил и вообще, активный был – смотреть противно. Противно? Не смотри! А Вовочка очень быстро до главного стоматолога дослужился, приехал в район с проверкой и всем разнос учинил: почему пульпитных больных по три раза к вам ходить заставляете? Приказываю лечить под анестезией за одно посещение. А потом еще на медсовете почему-то именно на деятельности Бориса внимание заострил, хотя все другие доктора таким же манером больных лечили, и все это главный спец с гонором и с крендибобером. Все лечили, но промолчали, а Борис встал и сказал, что ампутационный метод никто еще официально не отменял и что бывают случаи, когда вылечить пульпит за одно посещение нет никакой возможности. А Вовочка совсем раскипятился:

– Кто только вам диплом выдавал, невежам таким?

– А диплом мне выдали те же профессора, – с места крикнул Борис, – занимаясь у которых ты ухитрился левую коронку на правый клык надеть. Или забыл уже про «не на ту ногу»?

Вот и напомнили Борису, чтоб не забывал, что он – шлимазл. Пошла проверка за проверкой. Разгневали! Выставил одного проверяющего из кабинета: «Сатрап ты, конъюнктурщик и социальный трус!» Ну, естественно, в суд за оскорбление при исполнении. Судья хороший попался, выражения вполне цензурными нашел, но порекомендовал вынести разбирательство в товарищеский суд. Борис на суд товарищей не явился и был уволен с работы с формулировкой: «За отказ предоставить документы о проделанной работе проверяющему из облздравотдела».

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное» (Евангелие от Матфея).

А вскоре и до жены добрались. Подвели под сокращение штатов, и осталась семья Элькиных без средств к существованию. Четырнадцать раз за год слетал Борис в Москву и ведь добился восстановления через Минздрав, а областные чинуши ему и тут подножку: дескать, за это время уже другой специалист на ваше место устроен, пожалуйста, получите работу в другом месте, и послали хоть и в свою область, но в такую тьмутаракань, что он, конечно, ехать туда не согласился. Купил венгерскую портативную машину и стал принимать на дому. Недолго так проработал, стукнули, куда надо, вызвали его в органы, спросили ласково: сколько с больных берет и почему без лицензии промышленяет – пришлось лавочку закрыть и бога благодарить, что ни один больной не заложил и что в тюрьму не посадили. Что делать? Ситуация патовая, и вдруг приглашение в гости в Бостон к другу в Америку. Всю ночь семья не спала, все приглашение гостевое разглядывали и хоть не сказали вслух, но каждый про себя подумал в уме: «А не избавление ли это от всех напастей? Сенька друг верный, друг, испытанный со студенческих лет, врачом работает, сто сорок тысяч годовых, помочь обещает, так и пишет в письме: чем могу, тем помогу».

«Кто угодно может скурвиться, – думал Борис, – только не Сенька».

И жена то же самое думала, следуя бабской логике: раз он неженатый, значит, может еще другу помочь, ибо попавший в плен к Гименею себе, как правило, уже не принадлежит, квалификацию как друг неминуемо теряет, деньги, время и внимание на законных основаниях законной же супруге и отдает. Мало, очень мало на свете мужчин, способных сохранить мужскую дружбу, обременив себя супружеством. Итак! Едем! Но с билетами – дефицит. Полетел пятнадцатый раз за год в Москву, надо дать кому-то в лапу, а кому? Опыта в таких делах нет. Нашел одну пациентку, протезировал её когда-то, а она девка пронырливая да со связями, все устроила наилучшим образом, прямо в гостиницу билеты принесла, она же и визы помогла сделать. Бросил дом, всё нажитое, уехал с женой, дочерью и с одним чемоданом и не вернулся.

ЧАСТЬ II

«Господи! Бабы-то какие стрёмные! Как же среди них тут обитать?» – первое, что пришло на ум Борису, когда он оглядел толпу в аэропорту имени Кеннеди. И Семён, встречавший их, тоже не смог скрыть разочарования. А его можно понять. Прикид у семейки чудовищный. На жене мутоновая шубка и красные сапожки «ни в п... у, ни в красную армию», на нём кожаное пальто, ондатровая шапка кустарного пошива, лапти, купленные в качестве презента, висят на груди на липовой бечевочке, в руке подержанный чемодан допотопного фасона; на дочери дубленка – «снегурочка», а в Нью-Йорке плюс пятнадцать. И хоть расцеловал их Семён и с дочкой тепло познакомился – он её впервые увидел, но по тому, как торопливо провел их к машине, и по его излишне доброжелательной болтовне было видно, что он стесняется гостей. И все это просек по-еврейски чуткий на отношение к себе Борис, но не обиделся – десять лет все-таки не виделись.

«Вполне нормальное отчуждение, – успокаивал он себя, – через пару дней всё пройдет».

Ехали на новеньком «Джипе» по ночному городу, им надо было в Бостон. Семён на выезде из мегаполиса остановился, сказал, что на минутку и исчез на час. Задремали гости даже с устатку, вернулся, наконец, пахнувший буфетом, сказал, что забежал к друзьям и «похавал у них жареной картошки».

«Ел без меня, и в дом с собой не пригласил, и с друзьями не познакомил, – переваривал информацию Борис, – стесняется нас, как пить дать стесняется».

И с этого момента он стал стремительно взрослеть, в сорок с лишним стал ума набираться. Он был уверен, что жене друга нельзя задавать вопросы типа:

«А ты Борьку долго после контакта помнишь?»

Вернее, не так. Задать вопрос такой можно, но, во-первых, только в присутствии мужа, во-вторых, если вопрос в тему, и, в-третьих, поинтересоваться предметом можно только в тоне ироническом. Семён же, бездарно изобразив игривость, спросил об этом тогда, когда они на минуточку остались наедине.

Он что от неё хотел услышать?

«Ой, Сеня! И не говори, соколик! Забываю сразу же начисто, вроде, как и не было близости, а вот тебя бы, милый, помнила бы всю оставшуюся жизнь после сближения».

Так, что ли, жена ответить ему должна? Не хотел Борис даже думать об этом, пытался найти оправдание козлику: все мы, мужики, – кобелино, но включил однажды автоответчик, без всякой задней мысли, а там:

«Что у тебя под халатиком?» – интимно так, как только могут спрашивать любовницу, интересуется Семён.

И узнал Борис по голосу жену старого Сенькиного приятеля (ещё в Одессе Семён в друзьях дома ходил). Он, оказывается, всегда в этом плане дефективным был, оттого и не женат поныне. Значит, смолodu неполноценен был, но тщательно порок свой скрывал и в жён своих друзей тайно влюблялся. Ах ты, пакостник! Но ведь не скажешь, даже виду подать нельзя, он что-то там все время про свингернов втирает, мол, есть такое модное сейчас течение в Америке, когда семью объединяют только экономические соображения, а постельные отношения строятся на абсолютной свободе партнеров. Борис слушал, не возражал, а как себя иначе вести? Еще обвинят в домогательствах. И потом, постоянное сознание того, что в кармане всего четвереста долларов, очень даже дисциплинирует, отсутствие языка тоже весьма способствует сговорчивости. Все брошено к такой матери, все сбережения угроханы на поездку, теперь сиди и терпи. Семён обещал в письме во Флориду вместе поехать, а теперь объявил, что работы много, отпуск, дескать, шеф не предоставляет, и потому поездка на американские юга отменяется. Стал сутками где-то пропадать. Семейка сидит на кухне: куда идти, если ни слова по-

английски? Вот тебе и Флорида! А главное – страдание от ощущения собственной беспомощности. Ну, что? Начистить харю старому приятелю, – так вроде бы и не за что. Он же явно за женой не волочился, а может быть, и правда работы много, и потому нет времени гостям внимание уделять. И как его бить, когда он сдачи не даст, конечно, в жизни своей не дрался друган – слабоват от рождения. Утешала неумная мысль, что всё это приключение скоро закончится и он – Борис – будет потом друзьям и знакомым рассказывать про свои злоключения, и все будет ему сочувствовать, и всем будет это очень интересно. Даже губами доктор шевелил – беседовал с воображаемыми слушателями. Репетировал скорое представление. Потом испугался, что позабудет кой-какие детали, решил всё это безобразие на бумаге зафиксировать. Написал пару строчек, прочитал – застыдился. Серо, плоско, убого, стилистически отвратительно. Вспомнил, как рожал путевой очерк мопассановский Жорж Дюруа: «Алжир – город белый!», и дальше ни строки. Проза у Жоржа явно не шла. Не шла она и у Бориса.

«А кому это надо? – оправдывал Борис досадную творческую импотенцию. – Людям интересно только то, что происходит лично с ними, и горести и беды трогают их лишь тогда, когда их самих персонально жареный петух в задницу клюнет. Человек не кричит, когда другого пытаются, а лишь тогда воет, когда ему самому помидоры в дверях зажало. Вот ужинает гражданин, а по телевизору умирающих с голоду конголезских детишек показывают. Ну и что? Appetit утратил, несварение желудка от жалости к погибающим получил, кревоугодие прекратил, на почту помчался: деньги, посылки продовольственные слать? Ничего подобного, а вот нападет дрисня с пережору, порвет штанину о гвоздь в штaketине, и сразу огорчится безмерно, и всем про своё несчастье рассказывать станет. И что интересно? Чем больше несчастий обрушивается на других, тем он радостней, что это не с ним, не с его детишками происходит. Отвалится от стола, обобщит впечатления, поковыряется в зубах, темпераментно обнюхает зубочистку и бормочет благодарно в промежутках между отрыжками: «Слава Богу, что мои детки сыты, слава Богу!»»

Откуда-то выплыла и стала смешить давно прочитанная в Литературке хохма:

Графоман: «Вчера написал роман. Куды послать? Послал в редакцию – не берут!»

Редактор: «Попробуйте писать стихи».

Графоман: «А чё?»

Попробовал и Борис, но с чего начать?

Разумеется, с того момента, как он лучшего друга в Штаты из Одессы провожал:

Садилось солнце за вокзал,
Несло мочой из туалета,
К перрону поезд подползал,
Стоял июль – макушка лета.

Не хило! Но метафоры маловато. Им сейчас «горячий снег» подавай, «пьяный туман», «горчит на доньшке сознания» или еще что-нибудь в этом роде. Имям – современным читателям – читать такую преснятину будет скучно.

Желание писать остыло, и от мысли осчастливить человечество путевыми заметками в стихах он тоже отказался, хотя в минуты наибольшего удивления происходящим кой-какие рифмочки в мозгу возникали, и всегда почему-то вспоминался при этом милый душевнобольной из омской психушки. Он так счастливо свихнулся, что стал излагать исключительно в рифму.

– Коля, как дела?

– Шоколадно!

– Но почему не мармеладно, не медово?

– Как это почему? Вам я объяснить могу.

Я с больницы убегу. Только няне – ни гу-гу.
Мне как шизике применили физику.
Делали электрошок, ой, какой от вас душок!
И теперь мне ладненько! Просто шоколадненько!

И пошел Коля прочь, приплясывая и напевая на ходу: «Шок, и ладно, будет – шоколадно!
Будет мне отратно! Будет не накладно! Будет мне наградно!»

Во даёт! Завидно даже.

Семён появлялся дома всё реже. Длинными-предлинными, как фильмы Тарковского вечерами Борис потерянно слонялся по большому, дорого обставленному, но плохо обжитому дому. Внимательная тоска российского провинциала, лишённого привычной среды обитания, способствовала размышлениям:

«Без женщин уют не создать, и почему это у одиноких мужиков, даже если они душ трижды в день принимают, дух такой уплотненно холостяцкий в помещении? А стоит только ему жениться, и сразу же воздух свежее. Почему это? Наверное, это оттого, что дамские гормончики самцовские тестостероновые выделения нейтрализуют, а кроме них, нет противоядия от мужского хорькового амбре, хоть с ног до головы духами облейся – все без толку».

Жена его с дочерью, не знавшие английского, осмеливались ездить на трамвае только до остановки «Паркстрит» и шлялись там по магазинам, пытаясь купить что-нибудь во время сэйла ³подешевле. У Семёна сломался магнитофон, пришлось для увеселения купить двухкассетник. Гоняли музыку. Борис возился у плиты. Любимое занятие на какое-то время отгоняло скуку. Капиталистический ассортимент продуктов подпитывал кулинарную фантазию, а когда Семён изредка появлялся к ужину – радовался, если тот ел с аппетитом, и одновременно клял себя за впервые появившуюся в нём, угодливость. Что делать? Как достойно выйти из создавшегося положения? Уехать раньше времени домой? Знакомые засмеют, скажут: выгнали, небось, из Штатов за неуживчивость. Продолжать прислуживать на кухне – унижительно. Стыдно было перед семьей: «Кто угодно скурвится, только не Семён». Скверно всё получилось, очень скверно.

* * *

О Семёне Куяльнике ходили мифы, легенды и, как он сам выражался, «саги и форсайды». Рассказывали не о подвигах. Он их не совершал. Семён, он же – Сеня, Сенюля, он же – Плохиш был непревзойденным мастером мелких пакостей, воспринимаемых друзьями как смешные, милые и невинные шалости.

Встретил как-то Семен известного своей патологической ревностью приятеля с беременной женой. Дотронулся Сенюля по-свойски распутным пальчиком до тугого живота никогда не принадлежавшей ему женщины, заглянул ей ласково в глаза и спросил душевно: «Ну, и как мы назовем нашего ребёнка?» Последующая за тем семейная сцена описанию не поддается. И ведь не охальника гонял потом семейный изувер, а верную ему жену. Вот ведь что интересно.

Впрочем, один подвиг Семён все-таки совершил. Занес на спор на второй этаж общежития трехлитровый чайник с водой, держа его на корне небольшого, кривого, как у поросенка, но, как оказалось, очень стойкого члена. Вся прелесть состояла в том, что во время эксперимента среди присутствующих находились восторженные особы женского пола.

Воодушевленный грузоподъемностью органа, Семён, никогда не работавший физически, подрядился на другой день опорожнить вагон с двумя хорошо тренированными студентами. Первые полчаса он бегал резвее всех, таская ящики с помидорами, через сорок минут он смертельно устал, а через час упал на грязный от раздавленных овощей пол и обездвигился.

³ Сэйл – сезонная распродажа (англ.)

– Вставай! Падла! Предатель! Плохиш! – притворно свирепели артельщики.

– Пристрелите меня, – томно, голосом безнадежно раненого партизана попросил Семён, закрыл глаза и не встал.

И опять на него никто не обиделся, потому что было так смешно, что деньги, заработанные вдвоём, поделили с предателем по-братски.

Семён первым узнавал и доносил до аудитории смешные выражения, анекдоты и каламбуры: Не Шехерезада, а Шехерезадница, Нефертитька, Марчело Менструяни, гимен⁴ Советского Союза, не свежо, а свежопавато, воздух не спёртый, а спёрнутый.

Даже то, что было всем давным-давно известно, Борис, приехавший в Пермь из маленького таежного городишка, впервые услышал от Семёна и восхитился, решив, что весёлый одесит является автором смешных изречений: «А он взял мои девичьи груди и узлом завязал на спине», «Был жидкий стул, но я не испугалась», «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о минете в туалете», «Лучше стоя, чем на коленях» – лозунг Долорес Ебарури, «Ты похудел, но возмудел», «Крошка сын пришел к отцу, и спросила кроха: вот бы няне засадить – было бы неплохо», «До свиданья, милая, уезжаю в Азию! Может быть, последний раз на тебя залазию».

Семен знал наизусть Бабеля, цитировал Игоря Северянина, Сашу Черного, Вознесенского. Вся общага знала:

*Он бьет её, с утра напившись,
Свистит костыль его над пирсом.
И голос женщины седой:
«О милый мой, любимый мой!»*

Борис так и не прочитает этих строк, он просто запомнит их со слов Семёна, и всю жизнь будет потом сомневаться, а так ли это написано у поэта, но так и не удосужится проверить память Плохиша. Семён первым отыскал и принес для чтения «Алмазный мой венец» Катаева, безошибочно выбрал из творчества Эренбурга самое хулиганское: «Хулио Хуренито» и «Тринадцать трубок» – и заразил своей любовью к вышперечисленному окружающих.

«Один томик «Одесских рассказов» Бабеля, – утверждал он, – представляет большую ценность, чем десять килограммов «Войны и мира», или «У Есенина всего пять стихотворений, остальное – плохо рифмованная белиберда», или «Ярослав Смеляков написал только одну вещь, достойную восхищения, – это «Если я заболею», весь его остальной комсомольско-патриотический бред можно смело использовать в туалете», или «Поздний Маяковский предпочтительнее раннего, потому что написал бессмертное:

*А я достаю из широких штанин,
Толициною с консервную банку,
Смотрите, завидуйте, я – гражданин,
А не какая-то там гражданка!*

Или «Самый эротичный баснописец – это дедушка Крылов, потому что он написал басню «Однажды лебедь раком шуку».

На проводы Семёна съехались в Одессу со всей страны. В то время казалось, что уезжают навсегда, как на тот свет, и что возврата нет, и не будет. Борис с молодой женой прилетел из Омска. Вечером было безумно весело, а утром столь же грустно. Ревели хором, как на похоронах диктатора, но горше всех и безутешней плакали двое – Борис и друг детства Семёна –

⁴ Игра слов, гимен – девственная плева (лат.)

Игорь Георгиевич Раевский. Он – потомок столбовых дворян, только в предпоследнем поколении смешавших русскую кровь с еврейской, вырос с Плохишом на одной лестничной площадке, стремительно поднялся по служебной лестнице до должности проректора престижного ВУЗа, и теперь, сидя в кабине персональной «Волги», он – номенклатурщик – боялся подойти к самому близкому человеку на земле с прощальным лобзанием, справедливо опасаясь, что многочисленные филеры, снующие по перрону и наблюдающие за толпой провожающих «этих предателей родины», тут же стукнут на него «куда следует», и ему эти проводы будут стоить карьеры.

Дворяне умели пить, и Игорь, унаследовавший от предков благородную толерантность к алкоголю, мог принять ведро на грудь, не хмелея, но в тот вечер он надрался с горя так, что ему, человеку здоровому, не курящему, привычному к выпивке, стало так плохо, что пришлось сунуть ему таблетку валидола под язык. Он опрокидывал рюмашку, клал, кручинясь, лицо на подставленную ладонь, потом резко вскидывал породистую голову, бил себя в грудь, каждый раз повторяя при ударе: «Тяжело, тяжело!» и все вспоминал проделки Плохиша, не замечая, что все чаще употребляет слово «был», как будто он говорил об усопшем. Вспомнили про «расстрел».

Изя Веленский, мальчик из хорошо упакованной еврейской семьи, покорила-таки неприступную, как Эверест, Татьяну К. Эту Таню в нежном возрасте совратил еще в школе гнусный растлитель – преподаватель физкультуры, и с тех пор ни один мужчина не удостоился Таниного внимания и не прикоснулся к ней даже пальчиком. Только Изе, благодаря его внешности, галантному обхождению и тонкой душевной организации, удалось растопить лед в сердце этой мужененавистницы. И родители Изи были от невесты без ума, и купили за свои деньги обручальные кольца, и даже дали в лапу заведующей отделом регистрации браков, дабы как-то ускорить процесс, потому как Изе было уже невтерпёж.

«Она же а нэкейвэ⁵, – ударил наотмашь по загаженной любви мерзавец Куяльник Семён Яковлевич, а когда бедный Изя побледнел от разочарования в жизни, сжался, сник и проследил, он добил его подробностями, рассказав о том, как жарил на кухонном столе Вовка Кадкин его возлюбленную, и как то же самое проделывал с ней Борис в комнате, где присутствовали еще четверо бодрствующих, но бездарно притворяющихся спящими студентов.

«Да не психуй ты, поц⁶ – утешил Семён убитого горем Изю, – этих шикс⁷ в базарный день – рупь пучок, только свистни, ты – молодой, у тебя все спереди, как говорят у нас в Адесе⁸

Борис лежал на кровати с учебником гистологии в руках, когда в комнату без стука вошла Таня. По тому, как она была одета: легкий плащик в крещенский мороз, по лихорадочному румянцу и по нехорошему блеску глаз Борис понял, что произошло нечто экстраординарное, но большого значения этому обстоятельству не придавал, зная наверняка, что уложенная в кроватку старая любовница быстро успокоится и сама расскажет про все неприятности. Он хотел встать, но с изумлением услышал:

– Лежать! Жить хочешь?

И в следующую секунду студент увидел дуло, направленного на него украденного у папеньки-гэбэшника пистолета.

– С Семёном я разберусь позже, я его найти не смогла, а ты сейчас поедешь к Изе и скажешь, что между нами ничего не было, скажешь, что все наврал Семён. Такси внизу, попытайся бежать – застрелю.

⁵ А нэкейвэ – блудница (идиш)

⁶ Поц – половой член (идиш)

⁷ Шикса – русская девка (идиш)

⁸ Адеса – коренные одесситы никогда не употребляют букву „о“ при упоминании родного города и никогда не удваивают букву „с“»

– Останусь живой, – лелеял мечту Борис, спускаясь к машине, – придушу гада своими руками, чтоб знал, Плохиш, как болтать.

Однако, блестяще выполнив задание и помилив Изю с невестой, Семёна он так и не наказал. Он подошел к его комнате, вставил лезвие ножа между косяком и дверью, отжал без труда язычок английского замка и вошел внутрь. Пьяный, судя по опорожненной бутылке на столе Семен лежал в объятиях прехорошенькой, чуть тронутой легким, невинным псориазом, спровоцированным очередным обострением хронической любви к этому негодяю, студентки-разведенки из Соликамска. Борис постоял немного, рассматривая жирненькое, в меру волосатенькое тельце Семёна и вышел, улыбаясь собственным мыслям: «Дорого бы я дал, чтобы узнать, какие ощущения испытывает Плохиш, прикасаясь своим поросычьим хвостиком к псориазированной бляшке на пышном бедре его подружки».

«Но это же подло!» – подумала жена Бориса, услышав в то время рассказ, но промолчала, зная по опыту, что у мужчин несколько иные представления о порядочности. А плачущий Раевский через десять лет бросит чудную квартирку в Аркадии и эмигрирует с семьёй в Израиль.

* * *

Семён привел в гости одного из своих приятелей, того, жене которого он спросил по телефону задал: «А что у тебя под халатиком?» Они сидели на кухне, о чем-то вполголоса разговаривали и, когда вошел Борис, паскудно замолчали. Семен молчал многозначительно, рогоносец – почти вызывающе.

«Про меня говорили», – и, чтобы как-то разрядить возникшую неловкость, Борис, с отвращением к себе за недостойное мужчины поведение поинтересовался у рогоносца: «Как эта ткань на твоём пиджаке называется? Я бы купил такой же».

Гадко самодовольненький, неприятно-умненький рогоносец неприлично долго молчал и, наконец, процедил, неуважительно, не глядя на собеседника: «Это твид». Добавил что-то тихо по-английски, и они оба рассмеялись.

«Нет, это невыносимо! Вот козлосрань! Устрапать оленя вместе с этим штопаным гондом, – смаковал желание Борис, – уложить сучар прямо тут на кухне? Но как потом полиция объяснит инцидент? За что, собственно? Даже с переводчиком не объяснишь».

...

Вскоре Семен организовал пати, благо жилплощадь позволяла. Приехали два бардика из Чикаго. Так себе бардики – примитив. Слушаешь и Губермана вспоминаешь:

*Умельцы выходов и входов,
Настырны, въедливы и прытки,
Евреи есть у всех народов,
А у еврейского в избытке.*

Сам Наум Коржавин присутствовал. Толстые линзы очков. Производит впечатление человека, мучительно борющегося со сном. Задекламировалось восторженно в голове от неожиданной близости со знаменитостью:

*Пати! Присутствует Коржавин!
Почетный мэтр и диссидент.
Двух юных бардов, как Державин,
Благословляет на концерт.*

А мэтр, как только узнал, что свеженькие из России имеются, так сразу сам и подошел. – А что? Правда, что литовская делегация в качестве протеста съезд покинула?

– Правда, – подтвердил Борис.

– Совсем обнаглели! Да их на карте не видать, и туда же, да они должны молиться на Горбачева....

И дальше что-то в том же духе опальный поэт понес, мол, военная форма наших солдатиков заставит этих прибалтов нас уважать.

«И это говорит человек, по вине большевиков девять лет, загоравший в Карагандинской области, – не верил своим ушам Борис, – это говорит умница, написавший гениальное: «Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит?», это говорит непредрешенец, как он сам себя называл, изрекший: «Революция – это несчастье!»»

Хотелось спросить, прямо вертелся вопрос на языке: «Наум Моисеевич! Вы за кого? Вы пострадавший за идею диссидент или великодержавный шовинист?»

Хотелось спросить, но не спросил. К этому времени концерт закончился, все направились к столу, налили себе быстренько, разбились на группы. Борис подумал, что российское застолье, пожалуй, предпочтительней, налил себе тоже и стал ходить по залу, прислушиваясь к разговорам.

Семён извелся, готовясь к пати:

«На хрена я только согласился? Они же жрут на халяву, как троглодиты и обязательно какая-нибудь падла на стол с бокалом усядется, мне уже его ломали, тащи его к стене, там он устойчивей будет». Борис тащил тяжеленный стол, прокручивая в уме фрагменты будущих воспоминаний:

*Ты был веселым хлебосолом,
Душой компании, и вот!
На сытом Западе хваленом
Меня встречает грустный жмот.
А может, ты им был всегда?
Печально это, господа.*

Семён долго ломал себе голову, чем поить и кормить эту ораву, наконец, остановился на недорогом румынском вине, используя по старой студенческой привычке правило левой руки – это, когда в ресторанном меню закрывается ладонью весь ассортимент и выбирается сначала наиболее приемлемая цена для кармана, а только потом, уже, убрав левую руку, прочитывается название блюда.

Так и Семён, зная, что на нижних полках громадного, как стадион, винного отдела цены гораздо ниже, чем на верхних, устремился туда. Решено было купить три пятилитровые бадейки дешевого румынского вина и столь же дешевого сухого печенья. После долгих раздумий и тщательного подсчета общей стоимости банкета решено было из экономических соображений часть печенья заменить на галеты. «Им хоть что выставь! Все сожрут!» И, правда! Пили с удовольствием кислое пойло, хрустели на весь дом галетами и говорили о том, о чем обычно говорят в эмиграции. Тот, кто ничего не добился в Америке, вспоминал, вернее, напоминал, какое высокое положение он занимал в России, и окружающие делали вид, что верят ему, думая при этом: «Какого черта ты тогда уехал?», а тот, который зря уехал, рассказывал о гонениях, о происках проклятых антисемитов, сам себя, заставляя верить в эти басни, чтобы было не так мучительно осознавать всю глубину совершенной им глупости. Точно так же ведут себя переселившиеся в Израиль, только они, используя слово «анахну», что на иврите обозначает «мы» (ударение обязательно на второй букве «а»), делают то же самое гораздо остроумнее. Они говорят, с показным удивлением оглядывая окрестности, сладострастно расчленяя ивритское слово:

«А на хну мы сюда приехали?»

Ну, и конечно, сплетничали для оживляжа, сладостно содрогаюсь от удовольствия, получаемого в процессе обсирания ближнего, а потом уселись на стол и наджабили-таки ножки у стола, негодая.

– Я слышала, Саймон «Мерседес» продает, – заводила публику одесситка, знавшая Семена с рождения. – И правильно делает, он же яхту хочет покупать, зачем ему две машины, холостому?

– Какого цвета?

– Белого.

– Сколько на спидометре?

– Да он на нем и не ездил. Купил неизвестно зачем, а теперь он у Д. гниет.

– С жиру бесится.

– Говорят, Нора картины свои выставила, болтают, что грандиозный успех.

– Не знаю про успех, но машина у нее вэлферовская⁹ – смотреть стыдно.

– И ту М. купил.

– Ой! Не смешите меня. Он от неё давно сбежал.

А в другом месте, молодой человек, подозрительно белесый для иудея, с жёсткими прямыми соломенного цвета волосами и с носом уточкой, очень похожий на мультипликационного Емелю-дурака, говорил гневно: «Будь моя воля, я бы в обязательном порядке, объявляя песню, напоминал: русская песня „Катюша“, музыка еврея Матвея Блантера, популярная песня „Ландыши“, музыка еврея Оскара Фельцмана, чтобы знали, а за слово „жид“ – в тюрьму всю эту сволочь!»

«Эх, баклан ты мой московский, – укоризненно, но незаметно для окружающих покачал головой Борис, по интенсивному аканью говорящего безошибочно определяя место предыдущего проживания Емели на его якобы неисторической родине.

⁹ Вэлфэр – социальное пособие (англ)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.